

16a

363238

Л. М. КЛЕЙНБОРТ

МОЛОДАЯ БЕЛОРУССИЯ

ОЧЕРК СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1905—1928 г.г.

БЕЛОРУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНСК — 1928

16a(2p)

НАЦІЯНАЛЬНАЯ
БІБЛІЯТЭКА
БЕЛАРУСІ

Максим Богданович

I

Богданович—один—сказал я—среди своего поколения, поколения писателей, заговоривших языком народа, его нутром, от которого пришли в литературу. В самом деле, он рос на творчестве Янки Купалы, Якуба Коласа; но его умонастроение, его жизнечувствие не могли быть умонастроением Янки Купалы, жизнечувствием Якуба Коласа.

Кто бы ни писал о Богдановиче,—а чем дальше, тем пристальнее внимание к поэту,—кто бы ни писал о нем, не может не отметить *особое* положение, какое он занимает в новой белорусской литературе, положение, в силу которого никого нельзя поставить с ним рядом. Уже А. Луцкевич-Навина, который в 1909 г. отправлял стихи его „в архив“, по выходе же „Вянка“ считал его перлом белорусской поэзии, отмечает, что между поэтами молодой Белоруссии нет ни одного, сколько-нибудь близкого к Богдановичу. И вслед за ним и М. Пиотухович, и проф. Замотин, и проф. Пичета, и Чаржинский, и З. Бядуля, и Д. Жилунович¹⁾ отмежевывали основной душевный тон Богдановича от основного душевного тона остальных поэтов.

Эту исключительность подчеркивает не только внутренний, но и внешний смысл писательской судьбы поэта. В то время, как все поколение поэтов вырастает из соков родного края, Богданович всю жизнь, как ни коротка была она, проводит вне Белоруссии. Сын чужбины, он лишь издали связан с белорусской литературой, с национально-

белорусским движением. Тогда как все, без исключения, деятели этой литературы—дети деревни, местечек, лишь позднее приобщившиеся к городской культуре, Богданович—сын города, торгового центра Поволжья, который, по индустриальной своей структуре, выше города белорусского. Тогда как все поэты—самоучки, до всего дошедшие своим умом, коим надо было красть минуты от двенадцатичасового трудового дня, чтобы прочесть Шевченко или Кольцова, Богданович с ранних лет приобщается к сокровищнице мировой культуры. И вот отсюда уже разность, бросающаяся в глаза с первого взгляда.

Это—контраст непочатой, не сознающей еще себя силы с культурой дарования. Самородки все тянутся к яркости и силе жизни, всем нутром сидят в белорусском быте, в белорусской экономике. Вы точно входите в пределы девственной тайги... Совсем другое—Богданович, далекий от этих девственных напластований. По самой природе своего дарования, он в архитектонике, в стиле, в том, что не нуждается в колорите места... Что ни возьмете—язык ли, на котором Богданович писал, описание природы, обращение к белорусской старине, самый национальный инстинкт, поскольку им продиктованы произведения поэта—на всем, на всем лежит эта печать, печать поэта, которого лишь неуловимый штрих отделяет от мыслителя, который на все смотрит с какой-то высоты. Недаром Богданович, так сказать, свой не только в поэзии, но и в критике, но и в помыслах философии.

Все новое поколение идет под знаком реализма. Богданович не чуждается конкретности. Однако, в конечном счете, выходит за пределы реализма. Очевидно, нельзя не выделить его из писателей, с которыми он сплел свой литературный путь, нельзя не поставить его на место, принадлежавшее одному лишь ему.

Начнем с генезиса его творчества, с тех моментов, которыми оно жизненно связано. Отец поэта передал Институту Белорусской Культуры значительный материал, использованный в печати проф. Замотиным. Извлечем из него то, что отвечает биографической задаче.

¹⁾ См. журналы „Полымя“, „Вольны сыяг“, „Адраджэньне“ и т. д.

Как я уже говорил, Богданович-отец вышел в народные учителя из крестьян. Однако, Адам Юрьевич из народных учителей выбился в учителя гимназии. Заинтересовавшись белорусским фольклором, он выпускает в 1895 г. «Пережитки древнего мирозерцания у белоруссов», сотрудничает в «Материалах для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» П. В. Шейна, изданных отделением русского языка и словесности Академии Наук. Его же перу принадлежат такие работы, как «Нечистая сила по воззрениям белоруссов», напечатанная в «Научном Обозрении», «Про панщину, очерки крепостного быта в Белоруссии». Уже со стороны отца идет, таким образом, тяга поэта к родному краю, в котором ему не суждено было жить.

И мать его много читает. В противоположность отцу—этнографу-фольклористу—она увлекается не только Спенсером, но и Достоевским. Отличительная ее черта, которую она передает сыну, это—необычайная живость воображения. Она даже пишет рассказы. Один из них—«Накануне рождения» (святочный рассказ)—был напечатан в 1893 г. в «Гродненских Губернских Ведомостях» (№ 102).

Но более всего Богданович обязан своим дарованием, характером его своей прабабке-сказочнице. «Передача сказки—пишет Богданович-отец—была для нее творческим актом; каждый раз—сколько бы она не повторяла его—она вкладывала в разработку сюжета новые черты: рассказывая громко, нараспев, она сообщала рассказу чисто художественную ритмичность; знала она наизусть и много белорусских песен. Вообще, была хранительницей народной старины, белорусских обрядов, обычаев, пословиц, загадок, гаданий и т. п.»¹⁾

Родился Богданович в 1891 г. в гор. Минске. Но обстановку раннего детства его нельзя назвать благоприятной. Мать его воспитывала «на разумных началах», по Фребелевской системе. Недаром она сама была педагогом. Но умерла она, когда Максиму еще не было и пяти лет. Это уже имело место в Гродне, куда он вместе со своей семьей был пере-

1) «Узвышша», 1927 г. № 2. Стр. 101.

везен вскоре после своего рождения. Покойницу заменила сначала тетка, сестра по отцу; потом вторая жена Адама Юрьевича, которая тоже вскоре умерла... Но смерть матери оставила глубокий след в душе поэта. Хотя умерла она в ранние дни его детства, но смерть эта все же легла чертою между его детством и отрочеством, чертою, не стершеюся уже никогда позднее.

Годы ученья прошли, под руководством отца, уже в Нижнем Новгороде, куда переехал последний. Но уже на ученической скамье выступают те интересы, к которым он увлечется духовно позднее. Детской литературой он не увлекался. Уже тогда в списке книг, которые он читает, значатся произведения народной словесности, доступные детскому разумению. Уже гимназистом знакомится он с узорами народного эпоса, каковы сербские и болгарские песни. Эдда, Песня о Нибелунгах, Рустем и Зораб, отрывки из Илиады, Одиссеи, Энеиды, особенно же известные «Сказки» Афанасьева, белорусские сказки, записанные отцом... Так белорусская поэтическая стихия уже с детских лет западает в душу его.

Преподаватель Кабанов, преподававший в нижегородской гимназии историю,—белорус по происхождению,—особенно много занимался историей Белоруссии, и эта любовь к родному краю связала ученика и учителя тесными узами дружбы. Даже переехав со всей семьей в Ярославль, Богданович ведет деятельную переписку с Кабановым по вопросам белоруссоведения. Без сомнения, и эта дружба, наряду с влиянием отца и отцовской литературы, дает толчок его белорусским интересам.

Национальной струйкой не исчерпывается ранний облик поэта. Гимназические годы Богдановича, совпавшие с моментом такого подъема (1905—07 г. г.), были годами революционизирования средней школы. Движение всецело захватывает и нижегородскую гимназию, а вместе с ней и нашего поэта, который отрывается от ученических занятий и создает себе такую «неспокойную» репутацию, что его не сразу переводят в ярославскую гимназию. Увлекается он политикой, под влиянием своего старшего брата Вадима. Теперь «белорущина» отступает перед нею. На столе у него появляются Бакунин, Пру-

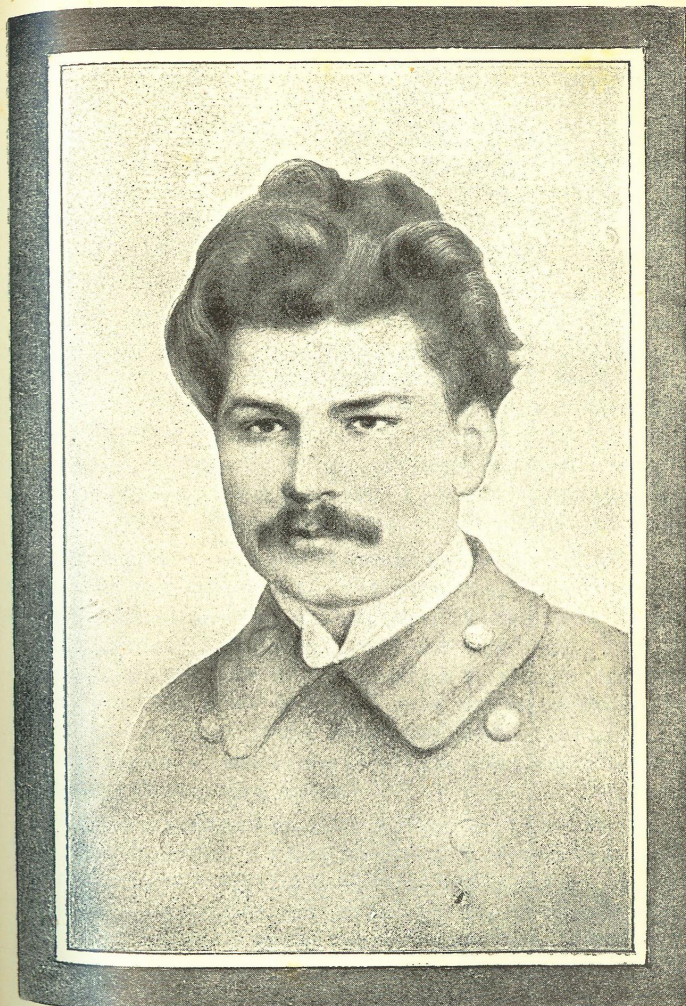
дон, Эльцбахер, Малатеста, Черкесов. Ведь и отец-Богданович в молодых годах отдал дань движению. С 1882 года по 1892 г. он был членом партии „Народная Воля“, вел организационную работу и в Минске, и по деревням. И вот и сын становится „анархистом“. Однако, интерес к Белоруссии и белорусскому движению не исчезает. Он лишь объединяет свои социальные думки, свой предреволюционный радикализм с национальным „возрождением“ Белоруссии.

С этой поры — поры наиболее напряженного интереса к общественности — и начинается подстерегать его тот недуг, который потом сводит его в могилу. В 1909 г. умирает его старший брат Вадим, умирает от туберкулеза, и вместе с тем первые признаки этой болезни начинают выступать и у самого Максима. Он едет на кумыс, затем в Крым...

Но вот он поступает в ярославский лицей, делается студентом. Мечты его собственно направлены к тогдашнему Петербургу. Проф. Шахматов предложил „Нашей Ниве“ указать ему молодого человека, который бы, под его руководством, занялся историей языка, этнографии Белоруссии. За ним, конечно, и осталась бы кафедра белоруссознания в петербургском университете. Это предложение улыбнулось Богдановичу, на котором „Наша Нива“ и остановилась. Однако, петербургский климат уже был не для его легких, в которых уже шел процесс.

Но в период студенчества, как указывает отец-Богданович, это уже Максим-книжник. В эти годы (1911—16 г. г.) он уходит в кабинет, полный своими книгами, живет тихо, сиротливо, весь отдаваясь науке и литературе. Заметим, что к этому времени отец-Богданович составил себе превосходную библиотеку. „В ней все есть, что есть замечательного в литературе всех стран“, характеризует поэт эту библиотеку своему товарищу Огурцову. И, в самом деле, подбор книг был разносторонний. И вот поэт уходит в книгу.

Самым ценным для него в этой библиотеке был подбор произведений белорусских писателей, как и всего материала белоруссознания; белорусские интересы вытесняют к этому времени все другие. Тут сборники и работы Шейна, Романова, Носовича. Радченки, Довнар-Запольского, Карского, Соболевского и др. Огурцов в воспоминаниях о поэте рас-



МАКСИМ БАГДАНОВИЧ

сказывает, что среди книг, которыми завален был его стол, больше всего было книг по славянским литературам—украинской, белорусской, чешской и т. д. Тут же на столе лежали и словари.

Он работает в ряде изданий: в ярославском „Голосе“ печатает статью о Михайловском, в „Ежемесячном журнале“ статью о Н. Д. Ножине, в „Украинской Жизни“ статью о Шевченко, о белорусском возрождении; пишет в „Жизни для всех“, в журнале „Национальные Проблемы“. С „Нашай Нівай“ же он уже связан с 1909 г.

Здесь печатаются не только его стихи, но и критические обзоры. Для установления контакта с „Нашай Нівай“ он в 1911 г. приезжал в Вильно, где сошелся с В. Ластовским (Властом) и С. Полуяном... Поэт наш пробует пристроить в печати и свои русские стихи. Он посылает их в „Вестник Европы“, „Северные Записки“, „Русские Записки“, „Ниву“. Однако, русские стихи его, как и русские стихи Коласа, Тишки Гартного, Бядули, не сделали его русским поэтом.

Процесс в легких все ухудшался и ухудшался тем временем. Он едет в Минск, где селится осенью 1916 г. вместе с поэтом Бядулей, с головой входит в национальное движение Белоруссии; организует кружки молодежи; несмотря на болезнь, работает днем и ночью. Пишет не только стихи, но вместе с А. Смоличем и Л. Савицкой задумывает хрестоматию для старших групп начальных школ. Для этой то хрестоматии он и написал эскиз „Город“, как и ряд других культурно-исторических эскизов.

Но вот оставаться долее в Минске невозможно... Хотя он и мало заботился о своем здоровье, но кашель не прекращается целыми ночами... Получив грошевую субсидию, он, наконец, собрался и уехал в Ялту. Но устроился кое-как в условиях, которые мало могли помочь чахоточному больному. Умер он 25-го мая 1917 г. в одиночестве, вдали от родных и близких людей.

Стихотворные наброски его, сделанные уже слабеющей рукой, говорили о том, что, умирая, он любил жизнь более, чем когда-либо, но сознавал, что все ближе и ближе к смерти.

III

Так один из значительнейших поэтов поры „возрождения“ все годы своей сознательной жизни прожил в Вилькороссии; даже кончил свою жизнь в далекой Ялте... Теперь ряд критиков изучает наследство, оставленное им. Институт белорусской культуры выпускает академическое издание его сочинений. Чем же это, каким незабываемым делом, он, в одно и то же время и такой непохожий, и такой близкий новому поколению, углубил его творческий путь?

С иными оценками, имеющими место в печати, не могу согласиться. Так, Я. Плащинский на страницах „Узвышша“ утверждает, что Богданович „принес в нашу поэзию стихию свежую, самобытно-белорусскую“¹⁾. Достаточно сопоставить Богдановича с поэтом, который, в самом деле, весь в этой стихии, чтобы понять, насколько далек от нее автор „Вянка“. Бесспорно, он родился для той поэзии, которую создал; был сыном Белоруссии в полном смысле этого слова; не головой лишь, но сердцем, воображением любил все, что живет в белорусской природе, в белорусском простолудине, наконец, нес в себе элементы белорусского духа. Но все же быт, в котором он воспитался, не белорусский быт. Все же по положению своему он нижегородец, ярославец. Все же многое из того, чем питается его поэзия, знает он из вторых рук, может быть, из книг, может быть, по наслышке.

Сравните Богдановича с Купалой. И содержание, и формы Купалы самобытно-белорусские, ибо поэзию белорусского быта он нашел в самом быте, не в фантазии своей, которая тоже может давать образы; ибо чистое золото его стихов слито с белорусскими буднями, с белорусским светлым праздником. Органически он не проговаривается против них ни в чувстве, ни в выражении даже тогда, когда он становится абстрактным, отвлеченным. Отсюда этот язык, неподражаемый язык. Где, у кого, кроме Купалы, найдете вы такие обороты и выражения? Отсюда же и почвенность этих образов, этой в высшей степени белорусской поэзии. Несомненная противоположность этому — Богданович. Читая его

¹⁾ „Узвышша“ 8-I—1927 г. „Кніга лірыкі, як мастацкае цэлае“. — „Вянок“ М. Багдановіча. Стр. 118.

стихи, невольно вспоминаешь Пушкина, который пробовал себя в разных национальных мотивах... Во всех их чувствуется поэт глубоко-русский. Но вместе с тем видна — по верному замечанию Белинского — „та художественная об'ективность, которая делала для Пушкина возможным быть, как у себя дома, во всех сферах жизни“¹⁾. И вот эта то об'ективность и есть стихия Богдановича, в силу которой он не мог бы написать ни одного стихотворения Янки Купалы. Не потому, что ему не хватало дарования, а потому, что эта песня требует совсем другого бытового опыта.

Уже язык его есть язык белоруса-чужестранца. Янку Купалу, Якуба Коласа, Тишку Гартного вы без словаря читать не будете, его же прочтете без словаря. И так и должно быть. „Язык М. Богдановича — говорит В. Ластовский с своих воспоминаниях — знал еще плохо и, говоря, все время сбивался на московщину“. При всякой возможности он старается говорить по-белорусски, ищет людей, которые могли бы разделить с ним беседу. Но все это далеко от той стихии, которую с детских лет культивируют в себе другие поэты²⁾. И то же подтверждает Ф. Имшенник. „Белорусский язык — пишет он — Максим Богданович знал не совсем хорошо. Он просил меня поправлять его речь, столь изобиловавшую руссизмами. В самом деле, чудная это была речь; видно было, что он *теоретически* изучает ее и иные слова произносит так, как они писались. Если бы француз услышал, что имя „Paul“ произносится так, как оно пишется, он бы удивился. И точно также и я удивлялся выражениям Богдановича. Ему совсем не давались такие соединения, как дз, дж. Слова „адраджэньне“ весьма чудно произносил Максим Богданович“³⁾. Конечно, интерес был натурален; поэт вникал в самую ткань слова, стараясь постичь его морфологию. В конце концов, он вычерпал из криницы родного слова то, что ему нужно было, как поэту. Однако, уже язык дался ему путем словарей и грамматик, так сказать, „об'ективно“.

¹⁾ В. Белинский. „Собрание сочинений“, изд. Павленкова. Т. IV. Стр. 428.

²⁾ „Узвышша“ № 2. Стр. 120.

³⁾ Ibid. Стр. 120.

И та же объективность в его описаниях природы. Прочтите такие стихи, как „Вечар“, „Над возерам“, „Над соннай рэчкай“, „Зімой“, „Зімовая дарога“ и т. д. ¹⁾ Это не поле, орошенное потом белоруса: это поле вообще; не леса, не озера Купалы или Коласа, а леса и озера вообще. „Прыпадыйме бацька Нёман на хрыбце магутным лёд“... Не то ли же скажешь и про Оку, и про Волгу?.. Даже народное творчество белоруса он воспроизводит под углом общей литературы: вот, напр., „Сумна мне“ (из цикла „Гуки бацькаўшчыны“ ²⁾).

Лучшие стихи Богдановича мог написать не поэт лишь белоруса, но и поэт русский, который—по выражению Белинского—во всех сферах жизни, как у себя дома.

Ну, „Слуцкія ткачыкі“... переведите-ка на русский язык. Получатся хорошие стихи. Но кто скажет, что писал их именно поэт-белорус? В них совсем нет ощущения Слуцка, слуцкого колорита (ср. „Зеленя“, переводы собственных стихов в I-м томе „Сочинений“, стр. 359—385).

IV

Самобытно-белорусских стихов у Богдановича не ищите. Однако, значение его от этого не умаляется, ибо значение Богдановича—в другом, я бы сказал, противоположном, в том именно, что он национализирует на белорусской почве мировое, общечеловеческое.

Это—„окно в Европу“.

Еще М. П. Драгоманов доказывал, что национальная литература должна быть орудием проведения общечеловеческих идей в народные массы. Он „не раз обращал внимание устно и печатно на то, что украинская литература до тех пор не станет на крепкие свои ноги, пока украинские писатели не будут приобретать всемирные просветительные идеи и стремления“ ³⁾. То, что относится к украинской литературе, приложимо и к белорусской. Национализация общечеловеческого здесь—условие, вне которого трудно представить себе движение вперед. Белорусская литература должна

¹⁾ См. „Наша Ніва“ 1909 г. № 37, 1910 № 3, 1910 № 6, № 1—1911 г.

²⁾ Ibid. 1911 г. № 22.

³⁾ М. П. Драгоманов. „Чудацькі думкі“, стр. 44 и 101.

быть в контакте с мировой, с одной стороны должна превращать общечеловеческое в национальное, с другой—сама вкладывать в сокровищницу общечеловеческой культуры...

Для небольших наций путь литературы трудней. Однако, мелкая культура отнюдь не свидетельство литературной скудности. Развивая русло своего мастерства, входя все более в контакт с мировыми ценностями, и небольшая нация может создать литературу заметного разряда. Важно лишь не замыкаться в национальный палисадник. Важно лишь приобщаться к источнику мирового, воспринимая ценности мировые, как свои белорусские и, в свою очередь, внося в их сокровищницу новые. И вот значение Богдановича именно в том, что он является мостом между литературой белорусской и мировой.

Присмотритесь к нашему поэту с этой стороны: „Вянок“ его снабжен эпитафиями из Данте, Верлена, С. Прудома, В. Гюго, Гейне, Буале, Янки Купалы, Жиглинского, Пушкина, Фета, Брюсова, Баратынского, Фофанова. Здесь и русская, и французская, и итальянская, и немецкая, и польская, и белорусская литературы... Эпитафии сами по себе, конечно, могут иметь лишь внешнее значение, вовсе не передавая общечеловеческого содержания поэта. Но в том то и дело, что эти эпитафии имеют глубоко внутреннее значение.

Перед нами поэт с европейским кругом интересов. Уже гимназистом он знает толк в Данте, Сервантесе, Мильтоне, Мицкевиче, Пушкине, греческих поэтах, особенно Анакреоне и Феокрите,—рассказывает о гимназических и студенческих годах поэта отец-Богданович.—Он читал их не только в переводах, но в оригинале, научившись греческому языку. Латинский же язык он знал артистически. Из немецких поэтов особенно любил Шиллера; из французских поэтов—Бодлера, Мюссе, А. де-Винье. И итальянский язык он изучал, чтобы читать любимых поэтов в оригинале. Прекрасно знал он и польскую литературу. В оригинале читал Красинского, Славичко, Сырокомлю, Конопницкую. Читал евангелие на чешском и сербском языках.

Особенно знал он русскую литературу. По словам А. А. Золотарева, автора „Во едину из суббот“, не было стихов русских, которых бы он не знал. Он читал всегда на

память стихи Блока, Белого, Моравской. Но особенно ценил он Фета, затем Пушкина, Лермонтова, Майкова, Полонского. Не столь высоко ценил Некрасова.

И вот весь этот всесветный фон и лег в основу его поэзии.

V

Это не следует понимать книжно. Поэзия есть прежде всего искусство. Нет поэзии там, где нет образа, образного мышления. Мы отнюдь не имеем склонности к той научной поэзии, которой пели в свое время дифирамбы такие противоположные между собой люди, как Валерий Брюсов, с одной стороны ¹⁾, А. А. Богданов—с другой ²⁾.

Узость содержания, рассудочный охват материала, бледность восприятия—вот результат эрудитизма. Мы видим нередко, как эрудитизм убивает ту стихийность, благодаря которой лишь и раскрывается тайна мастерства.

Все русские символисты—и старшие, как Бальмонт, Валерий Брюсов, Мережковский, и младшие, как Ал. Блок, Андрей Белый, М. Кузьмин—без сомнения, „эрудиты“, рассудочные, что называется, головные поэты. Однако, именно символисты делают первую попытку создать—через поэзию Фета, Тютчева, Владимира Соловьева—философскую основу искусства. Основной прием их мастерства слит с скрытой отвлеченностью, мыслимой, с одной стороны, чисто эстетически, с другой—чисто философски. Это—поэты-мыслители, которым мало образного созерцания, которые тянутся и к образному мышлению. Потому то их путь и лежит через языки всех народов, через горы книг, через ценности мировой культуры.

Им то М. Богданович и сродни. В его поэзии белорусское слово стало переливать цветами европейских литератур. Ибо полон он не только созерцания, но и мысли. Это не только эстет, но и ум философа. Мысль нередко даже стоит на первом месте. Однако, элемент размышления вкраплен в стихи чисто интуитивно, сообщая какую-то неуловимую параллель между явлениями природы и миром его души.

¹⁾ См. его статью под тем же названием, напечатанную в „Русской Мысли“.

²⁾ См. его книгу: „О пролетарской культуре“. Изд. „Книги“. 1925 г. Москва.

Бывают поэты, довольствующиеся тем, что доступно сознанию. Их сила в передаче „зримого“, в „яркости“ описаний и т. д. Богданович, напротив, отрывается от зримого. Его влекут глубины духа, ощущения, переживаемые где-то за пределами ума. Вот почему он обращается к Данте, Верлену, Гейне, Пушкину, Брюсову, Фофанову... Это не только первый эстет-поэт, но и первый поэт-философ Белоруссии.

Вот, что связывает Богдановича не только с белорусской, но и с мировой литературой. Говорят, если вы хотите составить правильное представление о каком-нибудь художнике, постарайтесь узнать его мнение о самом себе. Познать самого себя, конечно, труднее всего; однако, самооценка, сделанная каким-нибудь писателем, иногда является, в самом деле, кладом для критики. По отношению к Богдановичу это тем легче сделать, что он писал критические обзоры в „Нашей Ниве“, где высказывался и о самом себе.

Как же смотрел на себя сам поэт? Он считал себя новатором, как в области белорусской тематики, так и в области белорусских форм. В этом, именно в этом и состояло особое место Богдановича среди белорусских поэтов. Он приобщал литературу к европейским литературным традициям. Ни один писатель Белоруссии не выявил эту задачу так, как выявил ее Богданович.

VI

Бесспорно, строим своего социального „я“ Богданович одинок среди писателей из народа, писателей молодой Белоруссии. Что могут они заимствовать, чему поучиться у Богдановича, не как пролагателя путей мастерства, а как выразителя того или иного психического склада? Рознь жизненных ощущений бросается в глаза.

Разумеется, жизнь города—дух машины, поступь индустрии, фабричные гудки, предместья, изъеденные дымом—все это не мало говорит и крестьянину, и ремесленнику в эпоху классовой борьбы. Зарождающаяся в грозе и буре, все это влечет его к социализму, к которому тянутся горизонты наших поэтов от сохи и верстака. Но город—понятие обобщенное. Одно дело—стихия городских предместий, другое—стихия центральных улиц с их театрами, ресторанами,

трамваями... Богданович, конечно, как и Фофанов, как и Брюсов, которых он цитирует в своих стихах, дитя именно этих последних.

Вітрыны... Мора вывесак... Як плямы,
Анонсы і плякаты на сцяне.
Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне,
Сіуюць хлапцы, суючыя рэкламы...
Разношчыкі крычаць ля кожнай брамы...
Грук, гоман, гул—усё ракой імкне.
А далыш—за радам кас, ламбардаў, банкаў
Агні вакзалу... Павадка хурманкаў... ¹⁾

Власть города, треплющая нервы, с его лихорадкой, с пестрой мимолетностью впечатлений, с остротой переживаний формирует психику поэта. Если окна распахиваются в душных и тесных домах; если вольные песни начинают звать на простор, он опьянен их радостью, сам тянется к воле. Если же, наоборот, все падает, переходит на сумерки и осень, он смотрит на все сквозь пыльное окно.

Богданович вступил в литературу в самый разгар реакции. И творчество его, конечно, отразило эту пустыню бессилия. Конечно, он предан, всей душой предан своему краю, делу белорусского возрождения, не так давно слитого у него с Бакуниным и Эльцбахером... Даже мысль о смерти, которая уже стережет его первые шаги, может облегчить ему лишь родной край.

Даўно ўжо цела я хварэю
І хвор душой,
І толькі на цябе надзея,
Край родны мой!
У родным краі ёсць крыніца
Жывой вады.
Там толькі я змагу пазбыцца
Свайей нуды.
Калі-ж у ім умру—загіну,—
Ня жалюся я!
Ня будзеш цяжкая ты сыну
Свайму, зямля... ²⁾

Однако, поэт все больше и больше уходит в тишину успокоенных мечтаний, все больше и больше отдается утончен-

¹⁾ „Вянок“. Стр. 87. „Творы М. Багдановіча“ т. I, стр. 164.

²⁾ „Полымя“ 1923 г. № 7—8 „Максім Багдановіч, а poeta імпрэсіяністы“.

ностям поэта, лишь бы не быть в действительности, лишь бы убежать от нее подальше... в башню с цветными окнами. М. Петухович считает скептицизм, пессимизм отличительной чертой Богдановича, как поэта ¹⁾. Проф. Пичета, напротив, держится того взгляда, что хотя грустных мотивов у нашего поэта не мало, однако, пессимизма в нем совсем нет, а есть вера в близость национально-культурного возрождения родного края ²⁾. С оценкой Петуховича не солидаризируется и журнал „Полымя“, в котором статья напечатана. Однако, пессимизм Богдановича не подлежит сомнению.

Он шел уже из личных моментов его жизненной судьбы; смерть матери в раннем детстве, смерть брата, которому он столь многим обязан был духовно, наконец, собственная обреченность. Не в личных моментах, конечно, суть. Как хотел бы сам поэт развеять свою печаль, свои сумерки, что обступили его со всех сторон!

Сэрца, сэрца кроіцца ад болю:
Ой, пайду я з цеснай хаты ў тое поле.
У чыстым полі вецер вее, павявае,—
Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! ³⁾

Так бы с песней звонкой соловьиной вылить и на ветер кинуть всю тоску... Ветер же развеял бы ее в своем раздолье,—так, что не сойтись уж с нею никогда... Но в том то и дело, что *эта грусть, этот пессимизм заложены в самом созерцании поэта*... Бывают минуты гражданского восторга, о которых говорит поэт в стихах „Хай іншы жаліцца старонцы“... Не тухнет солнце... „Я пад яе зімовай маскай, пад сьнегам бачу твар вясны“. Но поэт углублялся в себя, и художественный пессимизм вступал в свои права. „Я сяджу без агню. Я стаміўся, прамок. Над зямлёю—імгла, у душы маёй змрок. О, як пуста ў ёй! О, як холадна жыць!“ Этот пессимизм вытекал из дуализма, которым запечатлено все, что им написано.

¹⁾ „Полымя“. 1923 г. № 7-8 „Максім Багдановіч, як poeta-імпрэсіяністы“.

²⁾ „Вестник Нар. Ком. Просв. БССР“. 1922 г. № 5-6.

³⁾ „Наша Ніва“ 1911 г. № 13. Стр. 180.

VII.

Любимейшим поэтом автора „Вянка“ был Фет. Но из каких истоков шла поэзия Фета? Он делил мир на мир явлений и мир сущностей. О мире явлений он говорил, что это „только сон мимолетный“, что „это лед мгновенный“, под которым „бездонный океан“, океан хаоса и неизвестности. И вот на этой противоположности построена поэзия не только Фета, но и Богдановича. С одной стороны—мир переходящего, с другой—стремительный спуск с обрыва.

Богданович, как и Фет, не считал себя замкнутым в мир явлений. Он верил, что есть просветы туда, где перво-образы. Отсюда—мотивы его „Зачарованного царства“. Отсюда—в противоположность мотивам труда, свободы остальных поэтов—стихи его о леших, русалках, о вороних конях, что „плывут по небу“. Его „душа, як ястраб дзікі, што рвецца ў неба на прастор“. („Мая душа“), и „поле нікне ў срэбным тумане“, „і маркотнага месяца рожкі праз марозную мглу зіхацяць“ („Зімовая дарога“).

І лякаючыся канца чакаеш ночы.
Ўсё здаецца, ўстаў лясун вялікі—
Чырванюць, адбіваюць кроўю вочы,
Не змаўкае сьмех глухі і дзікі ¹⁾.

Отсюда же „Старая Беларусь“ поэта—его „Летапісец“, „Перапішчык“, его интерес к древнему, исконному, из которого вырастает в узах заключенный дух.

Ёсьць чары ў забытым, старадаўным;
Прыемна нам сталеццяў пыл страхнуць,
Пажыць мінулым—гэткім мудрым слаўным,—
Быцьцё дзядоў у смутку ўспамінаць...

Где средства, где способ проникнуть за предел „явлений“? Как во времени выразить то, что вне времени, выразить миллионы лет всех форм бытия, осуществлений? Слова, краски, звуки—все это „так косо“ по сравнению с тем, что есть „сущность бытия“. И Богданович, как и Фет, чувствует, что, если мысль изреченная есть ложь, в самом деле, то прежде всего здесь. Очевидно, возможны лишь прозрения, те прозрения—экстаз, интуиция, вдохновение,—которые на

¹⁾ „Пугач“. „Наша Ніва“, 1909 г. № 43.

миг, на один лишь миг выводят поэта за рубеж. И вот с этих высот ему удастся глотнуть того, чего не может дать ум, сознание, зачерпнуть хоть капли стихии чуждой, запретной. И вот... мимолетность всего строя его музыки. Единственно стойким в мятущемся потоке явлений остается для него миг. Запечатлеть мгновение—вот его артистическая задача.

Глянь, як зорка, сарваўшысь, ляціць:
Сыпне яркага сьвету кругі,
Дзіўным сьветам зірне—забішчыць—
І патухне ў небе глухім.
Але ўсё-ж не прапаў яе сьвет.
Ён аставіў ў душы маёй сьлед.
Так свабодна, так ярка пражыць,—
Лепшай долі няма на зямлі.
На мамэнт ўсё кругом асьвяціць
І пагаснуць, загінуць у імглі.
Усё зьнікае, праходзіць, як дым.
Гэты-ж сьвет—будзе вечна жывым ¹⁾.

О том же говорится в стихах „Дзе вы, лясоў, палёў цьвяты?“

В этой погоне за мигом Богданович делается поэтом не столько красок, чувств, сколько оттенков красок, оттенков чувств... Все несказанное, смутное, где такое значение имеет намек, зияет у него, как окно в вечность. „Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопеньи“,—пишет Фет. И—процитировав его—вслед за ним пишет Богданович:

Вы, хто любіце натрапіць
Між страці старых, пажоўклых
Кнігі ўжо даўно забытай,
Блеклы высахшы лісток,—
Паглядзіце гэты томік:
Засушыў я на паперы
Краскі, сьвежыя калісьці,
Думак шчырых і чуцьця ²⁾.

Как видите, Богданович подходит к тем поэтам, из которых он черпал свои эпиграфы. Иносказательный момент у него слабее, нет и той невинности, которую модернисты

¹⁾ „Творы М. Богдановіча“, т. I. Стр. 171. „Наша Ніва“ 1909 г. № 50

²⁾ „Вянок“, стр. 1. „Творы“, стр. 119.

нарочито вводят в свои стихи, той шифрованной поэзии, где слова-иероглифы нуждаются в отгадке. Однако, это та же расколотость, противопоставление двух миров; та же потребность уйти из мира предельного, то же перемигивание с миром неясного.

VIII

Итак, первый городской, именно городской поэт Белоруссии—первый символист-импрессионист, идущий от Фета, Тютчева, Владимира Соловьева.

Этот разрыв с действительностью, это отрешение от реального, видимого—„балаганчика“, по выражению Блока—эта душевная расколотость едва ли могут быть по вкусу своими психологическими корнями тому молодому поколению, с которым Богданович вступает в литературу.

Крестьяне, люди физического труда, схваченные, как прибоем, конкретной эпохой, творцы четких, чисто дневных мотивов, проникнутых духом активности, они не могут не чувствовать в Богдановиче „утонченника“, „нытика“, который им чужд всем своим индивидуализмом. Однако, Богданович, как мы видели, возводится ими на высоту.

В чем же секрет этого пристрастия?

Вспомните историю рабочего писательства в Великой России. Теоретически Кирилловы и Садофьевы „пылали“ решением отмежеваться от старой литературы. На эту тему особенно резко высказывались П. Бессалько, автор романов „Катастрофа“, „Бессознательным путем“, и рабочий-критик, теперь уже покойный, Федор Калинин. Однако, фактически искусство оставалось искусством.

Вл. Кириллов, восклицавший: „во имя нашего завтра мы сожжем Рафаэля, музеи разрушим, растопчем искусства цветы“, этот самый Кириллов учился ведь писать у Пушкина, перед которым он и *каялся* впоследствии в своих словах; Садофьев—у Бальмонта, Казин—у Тютчева, Герасимов, Александровский—у Андрея Белого, Клюев, Есенин, Клычков—у Блока и т. д. Даже беллетристы учились писать у символистов, напр., Чапыгин, Гладков, Ляшко и т. д. ¹⁾.

¹⁾ См. мои „Очерки рабочей журналистики“ Издание „Петроград“.

Очевидно, отрицать „интеллигентскую“ литературу им не приходится. И то же мы видим на белорусской почве.

Одно дело та „классовая заросль“, которую писатель из народа находит у Богдановича; „культ личности“ не для его массовых органов. Другое дело—мастерство, как такое, у которого может учиться всякий, независимо от его социальной природы. Ведь Богданович поднял искусство стиха, именно белорусского стиха на небывалую до тех пор высоту. Ведь это эпоха в инструментовке и мелодике стиха. Ведь Богданович с правом может здесь повторить о себе слова Бальмонта: „кто равен мне в моей певучей силе?“, „Передо мною другие поэты—предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны...“

IX

Это—„учитель поэзии для поэтов“, мастер стиха прежде всего, поэт-классик в непосредственном смысле этого слова. Стих его достигает той утонченности, какую мы видим лишь в европейских образцах. Недаром и пришел он от них в белорусскую литературу.

Свой взгляд на природу письма он излагает так в одном из своих стихотворений:

Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей
Сэрцы пывёрдзя, быццам з каменя.
Разаб'ецца аб іх слабы верш заўсягды,
Ня збудзіўшы сьвятога сумення.
Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,
Абрабіць яго трэба з цяпнёнем.
Як ударыш ты ім,—ён, як зvon, зазвініць,
Брызнуць іскры с халодных каменяў ¹⁾.

Но характеристика эта идет любому поэту, только не Богдановичу. Сталь—материал, который совсем ему не к лицу. И из всех его стихов, которые он написал за свой короткий век, нет ни одного, которым он ударил, именно ударил читателя... Напротив, он прежде всего мягок, музыkalен, гибок в своих движениях. Богатство звуков, разлитых в природе, эпитетов, столь же неожиданных, сколько и певучих... В силу всего этого стих его воспринимаешь не

¹⁾ „Наша Ніва“, 1910 г. № 15. „Песьняру“. „Творы“, стр. 193.

столько глазом, сколько ухом. Чтобы войти в звуковую символику „Вянка“, прочтите хотя бы его „Завіруху“.

У бубны дахаў вечер б'е,
Грыміць па ім, зьвініць, пяс.
І сьпеў ліецца ўсё мацней,—
Гулянку справіў пан Падвей.
У бубны дахаў вечер б'е,
Грыміць па ім, зьвініць, пяс.
Ускіпела сьнежнае віно,
І белай пенай мкне яно.
У бубны дахаў вечер б'е,
Грыміць па ім, зьвініць, пяс.
Па вулках вее дзікі хмель,
Гудзіць сп'яная мяцель.
У бубны дахаў вечер б'е,
Грыміць па ім, зьвініць, пяс ¹⁾).

Не слышен ли в ритме этих стихов ритм мятели?

Это тот же прием, который мы находим у Верлена, у Верхарна, находим и у русских символистов. Богданович применяет в своей поэзии не только первичные, но и вторичные средства изобразительности.

Правда, что бы он ни изображал—леших ли, летописца ли, ли-чернеца или природу—в самой манере его изображения нет размаха, стремления раздаться в ширь. Зато каждый его прием углублен внутрь. Используя все канонизированные формы—сонеты, триолеты, рондо, октавы, терцины—Богданович дает нам мастерство, философски замкнутое в себе.

І вось зьвярнуўся я к рондо, сонэтам,
І бліснуў ярка верш пануры мой;
Як месяц зіхаціць адбітым сьветам,
Так вершы зьзяюць даўніх форм красой.

Он любит искусство, как маэстро; это—поэт-композитор, поэт чистой красоты среди „наше-нивских“ поэтов. И каждый стих напоен вином, по выражению Бядули.

Придя в белорусскую литературу от мировых корней, Богданович приобщил родную поэзию к классическим формам, классическим приемам мастерства. Культурный поэт с философским складом письма, он—в своих стихах, к которым ничего нельзя прибавить—европеизирует самую технику белорусского письма.

¹⁾ „Вянок“, стр. 55. „Творы“, стр. 167.